

Вопросы философии

С.М. Климова

Диалогическое пространство Л.Н. Толстого и Н.Н. Страхова

Четвертьвековой диалог – переписка «на вечные темы» – великого писателя Л.Н. Толстого с признанным философом Н.Н. Страховым обнажает размытость и стертость различий философской и литературной проблематики, способов аргументации, логики изложения, всего того, что сегодня принято называть «дискурсом». Толстой-собеседник обладает одним заведомо определенным качеством: он *гений*, чья гениальность, и следующие отсюда черты пророка, теурга, мессии и т.д., были очевидны для Н.Н. Страхова. Страхов – классический мыслитель и интеллектуальный посредник между Толстым и эпохой. Эта его роль не случайна и требует объяснения. Он осуществлял свой анализ происходящего не как пророк, идеолог, политик или активный участник действий. Он не был самобытным (наподобие Соловьева) философом, уникальным ученым или известным писателем, революционером или человеком действия. Его обычность и уникальность в том, что он был *гениальным слушателем*, имел способность чутко слышать чужие голоса, вникать и понимать чужие позиции и погружаться в чужое, как в собственный мир, – глубоко и прочно.

И в конечном итоге Страхов умел, как никто другой, адекватно понимать всю суть чужих идей, преломляя их в контексте научного видения проблемы. В его понимании/интерпретации любая идея обретала некую завершенность, целостность, что позволяло прояснять все смутные и, может быть, не ясные самим творцам особенности их концепций и теорий. Эту способность Розанов назвал талантом строить из всего чужого свою «внешне неяркую мыслительную вязь»¹. В способности диалогизировать с другими – чужими – текстами и создавать в ходе этих диалогов целостное понимание и был выражен его индивидуальный творческий талант. Несмотря на статус литературного критика, Страхов преодолевал в своих размышлениях монологизм *объяснения* и выходил главным образом на проблему *понимания*, которое всегда диалогично. Способность к пониманию выше других его талантов ценил в нем Толстой.

Может быть, благодаря всему этому, «обыкновенный философ» и литературный критик Страхов оказался Толстому ближе всего сонма его

знаменитых современников. Близость была не чисто интеллектуальной, политической или религиозной, но, прежде всего, экзистенциальной и духовно-творческой. «Знаете ли, что меня поразило более всего? – писал гениальный физиологист Лев Толстой после одного из первых посещений Страховым Ясной Поляны. – Это – выражение вашего лица, когда вы раз, не зная, что я в кабинете, вышли из сада в балконную дверь. Это выражение чуждое, сосредоточенное и строгое объяснило мне вас... Я уверен, что вы предназначены к *чисто* философской деятельности. Я говорю *чисто* в смысле отрешенности от современности; но не говорю *чисто* в смысле отрешения от поэтического, религиозного объяснения вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное произведение; а ни греки – Платон, ни Шопенгауэр, ни русские мыслители не понимали ее так» [1, п. 5 от 13 сентября 1871, с. 15]². Требование «отрешенности» при одновременной «включенности» в современность очень характерно для традиции русской философской мысли.

В самом начале переписки Толстой выделил главный вектор, навсегда определивший направление их общения. «Из живых я не знаю никого, кроме Вас и его (Тютчева. – С.К.), с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным... Мы одинаково видим, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие и зачем и чем мы живем, и куда мы пойдем, мы не знаем и сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем мне или даже вам мои дети» [1, п. 5 от 13 сентября 1871, с. 14]. По сути, он открыл важнейшую специфику диалогического мышления, ставшую основанием гуманитарно-филологической парадигмы начала XX века: «диалог диалогов» свободных личностей в бесконечной открытости и автономности обсуждаемых тем, направленный на «общий смысл» и при этом оставляющий всех участников свободными и независимыми (другими) творческими личностями. При этом принципиально важным является не только их мировоззренческая (ядерная) *близость*, но и широкое поле жизненно-биографических, культурных, интеллектуальных, мировоззренческих *различий*. Творческий и дружеский диалог предполагает наличие *единого* духовного, интеллектуального и аксиологического пространства как ядра межличностной эмпатии. Диалог невозможен без душевной *готовности* понимать другого, искать и принимать не свои идеи в чужих, но чужие в их собственном звучании/значении. Страхов в полной мере был готов к такому пониманию. «Вам я верю вполне. Нынче я говорил жене, что одно из счастья, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Николай Николаевич Страхов. И не потому, что вы помогаете мне, а прият-

нее думать и писать, зная, что есть человек, который хочет понять не то, что ему нравится, а все то, что хочется выразить тому, кто выражает эту готовность понимать другого» [1, п. 56 от 3–4 сентября 1873, с. 123]. *Природа понимания как со-участное мышление*, потребность в собеседнике, другом – автономном – взгляде является неотъемлемой и важнейшей характеристикой творчества. Здесь отражен важнейший элемент состоявшегося диалога: у Толстого – способность к творчеству, у Страхова – к «умному пониманию», а в ходе со-участия в идеях и воззрениях друг друга рождается *целостное* видение проблемы.

«Что касается того, что я человек замечательный, – отвечал Страхов на похвалу Толстого, – то я, право, начинаю понемножку в это верить. Не имея почти вовсе творчества, я имею очень большую способность понимания» [1, п. 60 от 26 ноября 1873, с. 134]. Философ в этом письме весьма точно объясняет, *чем понимание отличается от творчества*, рассматривая понимание как синоним критики, объективного анализа, угадывания идей автора, но при этом, как ему кажется, лишённого нового – положительного творческого или назидательно-проповеднического – момента в самих интерпретациях. «Конечно, по моему мнению, всякий беспристрастный человек должен сказать: в нашей литературе *о Данилевском, Троицком, об Милле, Ренане, Дарвине, Герцене, об Коммуне* – писал один Страхов; все, что писали другие, не имеет никакой цены и не заслуживает внимания; но все писанное Страховым прошло бесследно, так как это была только *критика*, только анализ, а положительного тут ничего не было, не было – *проповеди*» [1, п. 60 от 26 ноября 1873, с. 138]. Безусловно, ничто не прошло бесследно, ведь природа понимания открыла иные возможности проникновения в текст, чем обычное объяснение чужих смыслов/идей. Весьма точно об этом же, спустя полвека, напишет М.М. Бахтин: «При *объяснении* – только одно сознание, один субъект; при *понимании* – два сознания, два субъекта. К объекту не может быть диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических моментов (кроме формально-риторического). Понимание всегда в какой-то мере диалогично»³.

В одном из писем Страхов неожиданно прояснил для нас загадку своей притягательности, его «диалогизм» (как синоним притягательности) связан с его способностью соответствовать интересам, склонностям и способностям другого – собеседника, при этом свое оставляя для других – более со-родственных душ. «Здесь теперь Н.Я. Данилевский... и он готов по целым дням разговаривать со мной. Он необыкновенно милый и умный человек, но очень далек от настроений мыслей, в которых я нахожусь. *Я с ним* (курсив мой. – С.К.) натуралист и математик» [1, п. 134 от 29 января 1877, с. 307]. О разнице между толстовским и

собственным творчеством Страхов говорит следующее: «Разница между нами та, что вы воодушевлены, работаете мыслью и сердцем, чтобы добыть решение или пояснение высших вопросов, я же, как будто усталый и бессильный, только вечно смотрю на эти вопросы, только беспрестанно обращаюсь к ним своей мыслью, почти не ожидая разрешения» [1, п. 99 от 4 ноября 1875, с. 223].

Вопрос о природе понимания здесь вырастает в проблему *соучастного мышления*. Страхов «опутан» наукой, авторитетом немецкой философии, «одет» в объективность чужих идей, как в истину, он много знает, много читал, он – известный библиофил, имеющий сведения об огромном количестве книжных изданий и справочной литературе. Толстой абсолютно независим в своих пристрастиях и выборе творческого пути. При этом он постоянно пользуется библиографическими услугами Страхова по розыску необходимых ему сведений для работы, и в этом процессе не только Толстой, но и Страхов становятся соучастниками произведения, задуманного художником⁴. Страхов «заменяет» ему архивы, Толстой доверяет его знаниям по многим разделам философии, истории, религиоведения, переводной литературы и т.д.⁵ Высочайшую степень доверительности мы обнаруживаем в полной свободе на правки текста, которую дает Толстой Страхову в редактировании «Войны и мира»: «Посылаю вам, дорогой и многоуважаемый Николай Николаевич, не знаю, исправленный ли, но наверное испачканный и изорванный экземпляр В[ойны] и м[ира] и умоляю вас посмотреть его и помочь мне словом и делом, то есть просмотреть мои поправки и сказать ваше мнение – хорошо ли, дурно ли [если вы найдете, что дурно, даю вам право уничтожить поправку и поправить то, что вам известно и заметно за дурное]» [1, п. 54 от 22 июля 1873, с. 118]. Таких просьб много в переписке, степень доверия так высока, что Толстой без всякой иронии просит помочь вычитать статьи или художественные произведения с карандашом, и «разумеется, *все*, что вы сделаете, я буду доволен; даже, если сожжете статью или ничего не сделаете», а далее идет важнейшее признание: «чем ближе приближается время свиданья с вами, тем более радуюсь и ожидаю, *как важного для меня и моего писанья* (курсив мой. – С.К.), которое есть и которое будет» [1, п. 73 от 19–20 июня 1874, с. 168]. Толстой, который упорно выказывал свою неприязнь к критике, с легкостью сжигал, не читая, многочисленные фельетоны или заметки о себе, жадно внимал страховским замечаниям и суждениям о своих писаниях, и казалось, что без его взгляда не мог воспринимать свои труды во всей полноте содеянного: «Боюсь и не люблю критик и еще больше похвал, но не ваших. Они приводят меня в восторг и поддерживают силы в работе» [1, п. 146 от 21–22 апреля 1877, с. 331]. В контексте раз-

мышлений о специфической страховской способности к пониманию следует добавить к уже указанным чертам немаловажную характеристику душевной способности со-чувствовать и со-переживать Другому, не наждаком иронии или критикой эрудита разрушая чужую позицию или зародыши мыслей-идей, но подобно «душистому мягкому мылу»⁶ очищая, обрабатывая еще недодуманные мысли до рафинированности/чистоты высказываемого-понимаемого. «Работа моя состоит в том, чтобы высказать свои мысли, заставив их полюбить, всем: когда же я с вами, я знаю, что вы любите мои мысли и высказывать мне их легко кое-как намеком, и я порчу свою работу. А удержаться не могу, потому что мне ваше сочувствие дорого», – пишет Толстой [2, п. 226 от 1–2 мая 1879, с. 514].

С другой стороны, Толстой настоятельно ищет в Страхове такого же творца, каким был сам. И он зовет друга вперед, и этот зов равен призыву к *самостоятельному* творчеству, той научной смелости, которой у последнего никогда не было. «Приходит время (и оно для вас уже прошло с тех пор, как я вас узнал), что дороже всего согласие с собой. Ежели вы установите, откинув само все людское притворство знания, из которого злейшее – наука, это согласие с самим собой, вы будете знать дорогу. И я удивляюсь, что вы может не знать ее» [1, п. 186 от 8 апреля 1878, с. 423]. Его напористость наталкивается на вечную самокритику и неуверенность Страхова в своих творческих возможностях: «Вы ждали от меня чего-то. Вы думали, что эти зачатки мыслей и стремлений разовьются и куда-то двинутся, и ничего не дождались. Это верно, я ничего Вам не принес и ни в чем не пособил; я все тот же колеблющийся, отрицательный, неспособный к твердой вере и сильному увлечению какой-нибудь мыслью. Да, я таков. С недоумением перебираю я всякие взгляды людей, древние и новые, с упорным вниманием ищу, на чем бы можно остановиться, и не нахожу» [1, п. 188 от 11 апреля 1878, с. 428]. Толстой чувствовал, что у Страхова есть талант и предрасположенность к оригинальному мышлению (склонность к философии), но увлечение наукой (естествознанием) и критикой, пути общепринятого (чужие взгляды), многознание и вечная оглядка на других, на авторитеты (черта критиков, для которых ориентация на общественное мнение – важнейшая) мешают свободе самовыражения. Их творческие пути различны, хотя внутренне они очень близки друг другу.

Творчество, таким образом, является базовым основанием для делания жизни, а жизнь со всеми ее перипетиями и течением – основанием для творчества (отсюда ясен призыв рассказать о себе, неоднократно высказываемый в переписке Толстым Страхову). Страхов же знает в себе не только неспособность писать без оглядки на чужое – авторите-

ты, но и неспособность жить без оглядки. «Так что все время я не жил, а только принимал жизнь, как она приходила, старался с наименьшими издержками сил удовлетворить ее требованиям и, сколько можно, уйти от ее невзгод и неудобств. За это, как Вы знаете, я наказан вполне. У меня нет ни семьи, ни имущества, ни положения, ни кружка – ничего нет, никаких связей, которые бы соединили меня с жизнью. И сверх того, или, пожалуй, вследствие того, я не знаю, что мне думать» [1, п. 190 от 25 апреля 1878, с. 432–433].

По сути, в этих диалогах поставлен вопрос о природе жизнетворчества, задолго до появления этого понятия в размышлениях А. Белого. Исповедальные слова Страхова – это еще и попытка натолкнуть самого Толстого на понимание его, Страхова, природы и его своеобразного места в культуре, «нетворческого творчества». Ведь отсутствие «живой жизни» и привело последнего к поиску ее смыслов в искусстве; литература, а также чужая жизнь (например, того же Толстого) стали важнейшими основаниями его личностного бытия. И не эти ли факторы и обусловили его уникальную способность к пониманию чужого? Собеседник требовал от него оригинальности и научной независимости, но упустил связь тех его качеств, на которые сетовал, с главным его талантом – талантом к пониманию.

Страхов же под творчеством понимает такую способность эмоционального воздействия слова или мысли на автора и читателя (другого), которая и делает мышление со-участным или со-бытийным. Со-участное мышление как общее в «обороте мыслей» можно найти в совершенно разных сферах: научной, художественной, богословской или сугубо философской, что указывает на общность творческой природы мышления художника и ученого.

На примере переписки видно, что те, кого мы привыкли относить к «классикам», «монологистам» (М. Бахтин), создают в ходе диалога уникальный тип целостности художественно-философского мышления. В данном случае мы наблюдаем тот же процесс, что и в собственно искусстве, «когда обратимость «корней и кроны», «до...» и «после...» означает в искусстве особый тип целостности, «системности» искусства, как полифонического феномена»⁷.

Примечания

⁷ Розанов В.В. Литературные изгнанники. Воспоминания. Письма. М.: Аграф, 2000. С. 13, 17.

² Здесь и далее ссылки даны по изданию: Л.Н. Толстой и Н.Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1–2. Государственный музей им. Л.Н. Толстого. Оттава, 2003. Указываются номер тома, номер письма, дата и номер страницы.

³ *Бахтин М.М.* Литературно-критические статьи. М.: Искусство, 1986. С. 482.

⁴ В переписке приводится письмо С.А. Толстой к Т.А. Кузминской: «Анну Каренину» *мы пишем* (курсив мой. – С.К.) наконец-то по-настоящему, т.е. не прерываясь. Левочка, оживленный и сосредоточенный, каждый день прибавляет по главе, я усиленно переписываю...» [сноска в письме 129 от 5–6 декабря 1876 года, с. 297]. «Мы пишем» – вовсе не оговорка, а вполне осознаваемый Софьей Андреевной факт их со-творческой и со-участной деятельности.

⁵ Примером подобного рода сотрудничества может служить переписка (от 18–19 января 1879 года – просьбы Толстого к Страхову по работе в архивах) и изыскания Страхова в Государственном архиве, Архиве исторического общества, в Сенатском архиве, в Синодском архиве и т.д. Подр. об этом письма Страхова от 23 января 1879, начала февраля 1879, 15 февраля 1879, 11 марта 1879 года [2, с. 492–505].

⁶ Образ мыла придуман великим русским поэтом-мыслителем А.А. Фетом: «Я открыл в Вас кусок круглого душистого мыла, которое не способно никому резать руки и своим мягким прикосновением только способствует растворению внешней грязи, нисколько не принимая ее в себя и оставаясь все тем же круглым и душистым, плотным телом» (из Письма Фета к Страхову, ноябрь 1877). Цит. по: Полное собрание переписки. С. 384.

⁷ *Библер В.С.* От наукоучения к логике культуры. М.: Политиздат, 1989. С. 283.